

5-2014

# Wartime Norms and Survival

Jeffrey K. Hass

*University of Richmond*, [jhass@richmond.edu](mailto:jhass@richmond.edu)Follow this and additional works at: <http://scholarship.richmond.edu/socanth-faculty-publications>Part of the [History Commons](#)

## Recommended Citation

Hass, Jeffrey K. "Wartime Norms and Survival." *Rossiiskaia Istorii* 3 (May/June 2014): 17-22.

This Article is brought to you for free and open access by the Sociology and Anthropology at UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Sociology and Anthropology Faculty Publications by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [scholarshiprepository@richmond.edu](mailto:scholarshiprepository@richmond.edu).

не заметили, когда Ленинград отправлял фронту пушки, минометы и пр[оч]<sup>18</sup>. Не такую задачу мы ставили. У вас самолёты обратно везут только раненых. В то же время на самолётах ехали бодрые рабочие в глубь страны, мы отсюда посылали средства связи, пушки, следовательно, город ещё и помогает стране, отоваривает своеобразно своей собственной продукцией»<sup>19</sup>.

Своеобразный итог этой дискуссии подвёл А.А. Жданов: «Картина большая, поэтому с одного маха трудно впечатление составить, а работа порядочная... Насчёт музыки. Согласен, что она душераздирающая. Зачем это? Совсем не нужно оплакивать. Живём, воюем, будем жить, зачем же реветь в голос? Не помню, в прологе или во второй части показана старуха, в садике сидит, – это вещь неудачная, словом, старуху надо исключить. Показан митинг, посвященный началу войны, а публика никак не реагирует. Нехорошо это, как будто не про неё писано, а оратор разрывается. Неправильно... Во второй части показано Народное ополчение, стреляют, идут части, затем опять стреляют, затем показаны призывные пункты, показано, как погнали стада коров, пошли армейские части, потом свиньи пошли по Кировскому проспекту. Получается всё едино – кого-то куда-то гонят... Это напоминает картины Чаплина; сначала стада, а потом безработных показывают, помните? Не подходит, народ будет иронизировать». Расставляя акценты, Жданов подчеркнул, что «первой должна быть показана оборона. Надо показать, что есть враг, а он совершенно не показан. Враг показан только в виде пленных, причём тщедушного и жалкого вида. Спрашивается, в чём дело? Если враг такой, то откуда трудности, блокада, разруха, голод, холод и т.д.? Неправильно показан враг... В картине переборщён упадок. Вплоть до торчащих машин! Выходит, всё рухнуло... Люди говорили, что голодаем, но живём надеждой на победу... Абсолютно не показана ленинградская женщина. Её нужно показать. Она сыграла огромную роль и сейчас играет. Не показаны команды ПВО в обороне города, которые также играют исключительную роль. Показали бы молодёжь, дежурившую на крышах, борьбу с “зажигалками”... Картина не удовлетворяет. Она представляет из себя большую кашу. Всё дело надо привести в систему»<sup>20</sup>.

### *Джеффри Хасс: Нормы и выживание в военное время*

Ленинградская блокада является одним из наиболее трагических примеров лишений, опасностей и страданий, которые обрушивает на человека военное время. Важность её изучения заключается, во-первых, в том, что блокада может пролить дополнительный свет на советскую политику, экономику и общество в целом. В какой степени советская цивилизация была укоренена в повседневных практиках, интересах и понятиях? В какой степени советские институты могли реагировать на испытания, подобные блокаде? Во-вторых, изучение блокадных реалий помогает ответить и на более общие вопросы, которые бес-

<sup>18</sup> 20 ноября 1941 г. ГКО принял постановление № 927сс «О производстве миномётов в Ленинграде», в котором поддерживалась инициатива Военного Совета Ленфронта о производстве в Ленинграде в декабре 1941 г. 400 штук 120-миллиметровых минометов, 1300 штук 82-миллиметровых и 2 тыс. штук 50-миллиметровых минометов. ГКО в п. 3 своего решения записал: «Предложить т. Кузнецову 50 процентов миномётов из декабрьского производства отправить из Ленинграда в адрес ГАУ НКО» (РГАСПИ, ф. 640, оп. 1, д. 14, л. 134).

<sup>19</sup> РГАСПИ, ф. 77, оп. 1, д. 771, л. 5–6.

<sup>20</sup> Там же, л. 7–10.

покоят современные науки об обществе. Как ведут себя люди в экстремальных условиях? Продолжают ли в этих условиях иметь значение прежние нормы и традиции, и какие из них приобретают большее значение? Как меняются при этом институты и практики? Какая из опций известной в теории игр «дилеммы заключённого» – кооперация или преследование эгоистических целей – будет выбрана и почему?

Хотя «Блокадная этика» С.В. Ярова формально является исторической монографией, она, на мой взгляд, ближе к предметному полю социологии. Фактически проблемы историографии и исторического контекста обсуждаются в книге довольно мало. Вместо этого автор структурирует повествование на основе логики, которая используется в социологии культуры, и с помощью метода, который можно назвать «исторической этнографией». Помимо прочего, это даёт возможность ещё раз обратиться к дискуссиям о советской истории и обществе, о роли норм в человеческой практике, о природе человека, находящегося под давлением. Книга Ярова из тех, которые следует читать, обсуждать и использовать как отправную точку для последующих дискуссий. Я хотел бы привлечь внимание к находкам и достижениям автора, а также сформулировать несколько методологических проблем, которые могли бы стать отправной точкой для продолжения диалога о блокаде и (что не менее важно!) о человеческой природе вообще.

**1. Какой была «блокадная этика» и её нормы?** Возможно, наиболее важной проблемой, встающей при изучении блокады, является *реальное действие и сила моральных норм*. На протяжении последних 40 лет экономисты, политологи и некоторые социологи широко использовали для объяснения протеста и организации, бунта или революции, солидарности и семейных отношений теорию рационального выбора<sup>21</sup>. Историки, социологи и антропологи либо игнорировали этот подход, либо разрабатывали более изощрённые теоретические модели, в основе которых лежали категории культуры и нормы<sup>22</sup>.

Написав свою книгу, С.В. Яров невольно принял участие в этом методологическом противоборстве. Он не только описал, что происходило с нормами в блокадном Ленинграде, но и попытался осмыслить связь между нормами и выживанием в военное время. В частности, Яров анализирует две вещи: у разных людей нормы выдерживают натиск голода и насилия военного времени в разной степени; существует связь между устойчивостью норм (или её отсутствием) и социальным контекстом. По-видимому, близкие отношения, подпитываемые эмоциями, могут поддерживать альтруизм и объединение усилий в семье. Моральные нормы по отношению к более отдалённым объектам, таким как государство, находятся в большей опасности. Но всё же почему должна существовать такая вариация? И это совсем не праздный вопрос. В своём исследовании с использованием обширных данных из Петрограда времён Гражданской войны и советского голода 1930-х гг. русский социолог-эмигрант П. Сорокин утверждал, что голод подавляет все нормы<sup>23</sup>. По его мнению, между истощением от голода и эрозией этики существует прямая зависимость. В отличие от Сорокина, Яров отмечает устойчивость некоторых норм по отношению к другим, но не объясняет этого факта. Мне бы хотелось помочь Сергею Викто-

<sup>21</sup> Olsen M. The Logic of Collective Action. Cambridge (Mass.), 1965; Popkin S. The Rational Peasant. Cambridge, 1979; Becker G. A Treatise on the Family. Cambridge, 1993.

<sup>22</sup> См., например: Bourdieu P. The Logic of Practice. Stanford, 1992; Smith C. Moral, Believing Animals: Human Personhood and Culture. Oxford, 2003.

<sup>23</sup> Sorokin P. Hunger as a Factor in Human Affairs. Gainesville, 1975.

ровичу и читателям продвинуться в разъяснении данного вопроса. Для этого необходимо вернуться к теории рационального выбора, хотя и с её помощью довольно трудно понять многие практики человеческого поведения. Объяснение важности моральных норм у Ярова выглядит более корректно, но именно противопоставляя его теории рационального выбора, мы можем подчеркнуть ценность анализа, который осуществил исследователь.

Согласно упомянутой теории, которая лежит в основе мейнстрима современной экономической науки, люди действуют рационально, осмысленно и стремятся к максимизации индивидуальной «выгоды». Нормы могут использоваться в борьбе за выгоду, но сами по себе они работают только в качестве инструментов (отсюда понятие «инструментальная рациональность»). С этой точки зрения, культурные нормы (как и закон) действуют только в том случае, если существует механизм принуждения к их выполнению, и влияют на расчёт потерь и выгод, которые делает человек. Принуждение же к исполнению требует системы наблюдения за поведением человека. При этом наказание или награда должны быть значительными. Таким образом, сами нормы (в данном случае «блокадная этика») имеют в значительной степени эпифеноменальную природу. Вместо них более важное значение начинают приобретать *структуры мониторинга и вероятное наказание*. Почему нормы кооперации работают в семьях, но не на рынке или по отношению к государству? Потому что члены семьи могут более систематически отслеживать поведение и наказывать друг друга<sup>24</sup>. Почему нормы деградируют? Потому что существенно изменяется соотношение затрат и выгод. В обычных условиях, если я украл какую-то еду у моей семьи, мне могли сделать выговор, если же я воздержался от кражи, то лишь лишился какого-то удовольствия. Зимой 1941–1942 гг., если я не украл еду, я мог просто умереть, а если я её украл, мне также могли сделать выговор или умер бы кто-то другой, но я остался бы жив. (Рассмотрим аналогичную ситуацию воровства у государства: если кража хлеба не повлечёт за собою смертную казнь, а отказ от неё с высокой степенью вероятности вызовет смерть от истощения, тогда имеет смысл украсть.) Следовательно, нормы, в сущности, представляют собой неформальные законы, *не более того*, а анализ в действительности должен быть направлен на мониторинг и наказание, на «союзы» в семьях и рабочих коллективах.

Таким образом, мы сталкиваемся с дилеммой: либо нормы являются вторичными по отношению к рациональному расчёту и принуждению, либо они конструируют само действие (предположение Ярова), либо расчёт и более глубокий, когнитивный смысл норм сосуществуют (но как?)<sup>25</sup>. Моя интуиция и результаты моих исследований свидетельствуют в пользу третьего варианта, хотя моё объяснение в настоящее время имеет скорее общий и предварительный характер. При прочих равных близость к потенциальным жертвам нарушения норм приводит к неинструментальному, нормативному поведению со стороны потенциального нарушителя. Сила норм по отношению к инструментальной рациональности также влияет на степень, в которой человек ставит нормативное поведение во главу угла<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> *Axelrod R. The Evolution of Cooperation. N.Y., 1984.*

<sup>25</sup> Первый вариант связан с рациональным выбором и теорией игр; второй – с теорией Э. Дюркгейма и (скрытым) функционализмом; третий – с разновидностью подхода П. Бурдьё и теорией полей.

<sup>26</sup> *Hass J. Norms and Survival in the Heat of War: Normative versus Instrumental Rationalities and Survival Tactics in the Blockade of Leningrad // Sociological Forum. Vol. 26. № 4 (2011). P. 921–949.*

**2. Кому и во что мы верим? Источники информации и взглядов.** Исследование Ярова опирается на первичные источники – дневники блокадного времени или воспоминания, написанные уже после войны. Это порождает очень важный вопрос: в какой степени используемые данные достоверно отражают поведение людей во время блокады? Но ещё более сложной является другая проблема: насколько велико *влияние контекста* на содержание дневников и других подобных источников? Существуют два возможных проявления такого влияния. Во-первых, изложение своих настоящих мыслей и чувств на бумаге было связано с серьёзным риском. Во-вторых, как отмечает сам Яров, крайняя степень лишений во время блокады ставила под вопрос фундаментальные нормы «цивилизованного» поведения. В какой степени ленинградцы (как и любые другие люди) хотели признаваться в совершении серьёзных аморальных поступков?

Это не означает, что мы должны автоматически списывать со счетов всё, что написано блокадниками. Содержание блокадных дневников и воспоминаний, опубликованных после 1991 г., выходит далеко за пределы разрешённого советской цензурой. Однако очевидно, что ленинградцы всё же как-то маскировали свои мысли, когда записывали наблюдения и размышления. Критика Сталина была абсолютным табу, поэтому мы знаем очень мало о том, что они в действительности думали по этому поводу<sup>27</sup>. Но насколько откровенно ленинградцы могли отражать факты нарушения моральных норм? Как отмечает Яров в третьей части своей книги, они считали эти нормы ключевыми для цивилизованного поведения и пытались сохранить их. Как же мы можем ожидать, что автор дневника будет описывать собственное нарушение этих норм? Насколько легко человек может признать, что он украл чужой хлеб, даже если это сделано для спасения детей? Это было бы признанием не столько факта нарушения закона, сколько разрушения собственной личности. Гораздо легче писать о том, как я избежал искушения украсть чей-либо хлеб или о боли, которую я пережил, видя чью-то смерть, или же о негодовании, которое испытал, видя спекуляцию хлебом на Сытном рынке. Известно, что во время блокады было широко распространено воровство: одни ленинградцы воровали продукты питания у других, из магазинов и складов, чтобы выжить, другие воровали для обогащения. Автор дневника может описать, как другие воровали, но он не может заглянуть в голову другого человека – следовательно, в дискуссиях о блокадной этике появляются определённые «слепые» места.

Частично ответ на данную проблему зависит от того, как мы формулируем исследовательский вопрос. Если в центре внимания оказывается то, как люди воспринимают военное время и выживание в конкретном политическом контексте, – в данном случае в условиях сталинизма и жёсткого испытания для моральных норм и поведения – тогда валидность данных важна в меньшей степени (исключая проблему выборки). Если же нас интересует то, как люди в реальности думали и поступали (а в этом случае дневники и другие аналогичные тексты становятся источником объективных данных), тогда наша проблема сохраняется. Она становится более понятной, если мы можем сравнить различ-

---

<sup>27</sup> Есть ряд свидетельств на этот счёт, например, некоторые воспоминания (дневник Остроумовой-Лебедевой (ОР РНБ, ф. 1015)) или сводки НКВД. Замечу, что эти источники также не снимают вопроса о репрезентативности, но они с определёнными методологическими оговорками могут углубить наше понимание реальности.

ные источники информации от одного и того же человека. К счастью, у нас есть по крайней мере один такой случай. Речь идёт о материалах К.В. Ползиковой-Рубец или, точнее говоря, двух комплексах материалов, каждый из которых имеет свой собственный контекст и общую тематическую логику<sup>28</sup>. В ряде интервью, взятых во время блокады, Ползикова-Рубец описывает блокаду как балансирование между страданием и героизмом, симпатией и преодолением трудностей на грани невозможного<sup>29</sup>. Этот материал довольно точно отражает её воспоминания, опубликованные в 1954 г.<sup>30</sup> Однако в нашем распоряжении также имеются дневники того же автора, оставшиеся в партийном архиве (недавно её семья опубликовала их расширенную версию)<sup>31</sup>. Здесь представлен уже другой взгляд на блокаду – гораздо более мрачный и пессимистичный, где на первый план выступают страдание от истощения, жадность и смерть. Блокада в «Они учились» представляет ленинградцев едиными, участливыми и поддерживающими друг друга. Дети голодают, но мужественно смиряются со своим бедственным положением. Блокада в «Дневнике учителя» демонстрирует отчаявшихся ленинградцев, тем самым объясняя их склонность к оппортунистическому поведению.

Вопрос заключается в том, какой из этих источников является более достоверным? Моей первой реакцией было подозрительное отношение к «Они учились»: исходными материалами являлись интервью, и книга увидела свет в эпоху расцвета сталинизма, а дневники были более интимным текстом, не предназначенным для огласки. Однако, возможно, это слишком прямолинейная интерпретация. Может быть, автор видела и храбрость, и отчаяние у одних и тех же учителей и школьников. Возможно, сюжеты, которые она затрагивает в обеих книгах, точны, и поэтому она разделила их на два повествования, в то время как материалы представляли собой две части одной картины. Или же Ползикова-Рубец выбирала, какой из взглядов на блокадную реальность запечатлеть в каждой из работ: вспоминала оптимистические моменты (или слегка изменяла их) для интервью, которые стали книгой «Они учились в Ленинграде», а самые мрачные эпизоды записывала в свой личный дневник.

Но фундаментальные вопросы, увы, остаются без ответа. Чему мы должны верить? По мере того как мы реконструируем блокадную реальность по данным источников, необходимо сохранять скептицизм и критичность, но как нам научиться при этом разделять реальность, допустимое преувеличение и чистую фантазию? Мы можем пытаться усреднять различные точки зрения, но при этом есть риск свести всё к некоторой единообразной логике или, возможно, искусственно превознести один источник в ущерб другим. С учётом того, насколько ужасающей была реальность блокады и насколько разрушительным было её воздействие на самые святые убеждения и представления о человеческой природе и обществе, а также с учётом природы советской системы и сталинизма, было бы удивительно, если бы хоть какие-то материалы – из дневников или интервью, из партийных или государственных органов – были абсо-

---

<sup>28</sup> Есть и другие похожие случаи. Например, А. Остроумова-Лебедева оставила свои детализированные дневники в Российской национальной библиотеке, но кроме того опубликовала и «Автобиографические записки» (которые использует Яров).

<sup>29</sup> ЦГАИПД, ф. 4000, оп. 10, д. 344.

<sup>30</sup> *Ползикова-Рубец К.В.* Они учились в Ленинграде. Л., 1954. Автор умерла в 1949 г.

<sup>31</sup> ЦГАИПД, ф. 4000, оп. 11, д. 93; *Ползикова-Рубец К.В.* Дневник учителя блокадной школы (1941–1946). СПб., 2000.

лотно точными. Но нужно выбрать метод для сложения из кусочков мозаики цельной картины.

**3. О какой «блокаде» мы говорим?** Точное определение любого понятия – трудное дело, но оно необходимо для того, чтобы задавать точные вопросы и получать точные ответы. Например, в историографии дебатруется вопрос о том, когда закончилась русская революция – в 1917, 1918, 1922 или 1932 г.? Ответ на него определяет наше понимание сталинизма как продолжения революции, свёртывания революционного процесса, или же как независимого и никак не связанного с революцией явления. Или, например, вопрос о Холокосте. Наше представление о геноциде предполагает лагеря смерти. Но большая часть убийств во время Холокоста была совершена импровизированными расстрельными командами без какого-то «промышленного» подхода. Таким образом, концентрационные лагеря представляют только одну сторону истории Холокоста.

Аналогичная ситуация наблюдается и с блокадой. Известно, что она продолжалась с сентября 1941 до января 1944 г. (хотя прорыв в январе 1943 г. делает эту периодизацию несовершенной) – отсюда фраза о «900 днях». Однако анализ Ярова концентрируется на первой зиме, и здесь Сергей Викторович не одинок. Аналогичный подход можно обнаружить и в других исследованиях: первая зима обычно оказывается в центре анализа. Конечно, для этого существуют определённые причины. Прежде всего, она стала наиболее смертоносной и драматичной. По мере того как власти улучшали снабжение и распределение и по мере эвакуации значительной части населения в 1942 г., а также после прорыва блокады в январе 1943 г., жизнь в Ленинграде «нормализовалась» в той степени, в какой это вообще было возможно. Дневники блокадников по своему качеству и количеству также «не равнодушны» к первой зиме. Довольно часто основная часть дневника посвящена 1941–1942 гг., после чего автор оказывается в эвакуации или вовлекается в более активную жизнь и работу.

Но хотя зима 1941–1942 гг. является логичным выбором для начала изучения блокадной этики, она только часть всей истории. Другой важной частью являлась *адаптация*, в ходе которой ленинградцы приспосабливали свои стратегии выживания к новой ситуации восстановления многих моральных норм. Привела ли травма той первой зимы и возможность продолжения лишений к моральному оцепенению? Какие нормы продолжали быть актуальными? Что можно сказать о перестройке этических систем в связи с воспоминаниями о проступках своих или чужих? Не было ли доминирование героического рассказа отчасти попыткой рационализировать или забыть проступки, страдания и боль? Подозреваю, что ответ на эти вопросы потребует сравнения свидетельств времён блокады с интервью, взятыми много лет спустя, и попытки установить, какие темы или события исчезали, преуменьшались, рационализировались, или же описывались принципиально отличным образом от того, как это было раньше.

Я затронул эти вопросы и проблемы ни в коем случае не для того, чтобы поставить под сомнение впечатляющий труд Ярова. Невозможно не заметить огромного объёма работы автора по тщательному сбору и анализу отдельных деталей. Книга Ярова блестяще сочетает в себе глубокий анализ и драматизм повествования. Сам тот факт, что книга вызывает такое количество принципиальных вопросов, лишний раз свидетельствует о её несомненной важности.